

С. Л. ФРАНК

О Льве Шестове

(По поводу его новой книги «Начала и концы»)

В стороне от большой дороги жизни — вдалеке не только от политических, общественных тревог дня, но и от всего круга понятий, привычек и симпатий, которые мы зовем современными «идейными течениями», «умственными движениями» — вне социализма, мистицизма, неохристианства, анархизма и всех прочих «измов», — мыслит и творит замечательный русский писатель Лев Шестов. «Никогда готовые идеи не прибавят дарования посредственности, и наоборот, оригинальный писатель во что бы то ни стало поставит себе собственную задачу», — говорит Шестов в своей новой книге «Начала и Концы» по поводу спора о значении тенденции в искусстве. Шестов сам принадлежит к числу тех немногих мыслителей, которые имеют «свою собственную задачу». Я не знаю ни одного современно-го писателя — за исключением, конечно, Толстого, — который бы в своих интересах и исканиях был так независим от «духа времени», настолько мыслил вне атмосферы всяких «веяний», в безвоздушном пространстве, заполненном только собственными идеями, как Лев Шестов. Подобно самым крупным умам, он живет в благодатной тишине духовного одиночества, неведомый, а потому и недоступный толпе, героем которой он никогда не может стать. Он пишет мало, но всегда умно, интересно и сильно, а главное — всегда свое, всегда — ту правду, которую он выносил из своей души; и опять-таки, кроме Льва Толстого, в настоящее время вряд ли найдется писатель, который был бы так безгранично искренен, так явно обнажал свою подлинную душу, так мало примешивал к исповеди «литературу», как Шестов. Каждая страница его писаний обнаруживает редчайшие черты сильного и независимого духа. И все-таки — творчество этого замечательного ума отмечено какой-то роковой печатью *бесплодия* или *ненужности*. «Творчество из ничего» — так определяет Шестов то, что дает Чехов. «Творчеством ни для чего» можно было бы назвать недюжинную идейную работу Шестова. Все, что он пишет, читается с захватывающим интересом, но после прочтения на душе остается только щемящее чувство тоски — той тоски, которую порождают в нас минуты душевной пустоты. Может быть, это чувство есть результат того опустошения, которое этот мыслитель совершает в нашей душе, беспощадно уничтожая и высмеивая всякие верования, идеалы, истины, всякий смысл жизни и все ее цели? Шестов — «нигилист» в самом подлинном смысле этого слова; он написал «Апофеоз беспочвенности» и собственно только его и пишет всегда; он не может

успокоиться. Пока есть на свете какой-нибудь покой, какая-нибудь прочность, и задачей своей жизни поставил, по-видимому, показать, что все верования, убеждения и идеалы суть лишь детские сказки, выдуманные для утешения трусов, и что единственным результатом подлинно правдивого отношения к жизни может быть только признание ее безусловной безнадежности, слепоты и, следовательно, безысходного трагизма человеческого существования. Но, странным образом, это неустанное подчеркивание трагизма — оно называется у Шестова «философией трагедии» — не возбуждает в читателе никакого ужаса, отчаянья, а только неопределенное, бесформенное чувство тоскливости и пустоты. Мне кажется, это объясняется тем, что нигилизм Шестова уж слишком радикален и, так сказать, универсален. Опустошение, производимое Шестовым, настолько безгранично, что, собственно, никакой «бездны» или «провала» уже не остается. «Трагедией» мы называем жестокое столкновение наших желаний и влечений со слепыми силами действительности. Чтобы пережить трагедию, нужно все же иметь желания, знать их цену, нужно стоять на некоторой «почве» и искать пути. Но та «беспочвенность», к которой приходит Шестов, бессмысленное висение человека в воздухе, не может даже дать повода никаким столкновениям. «Бездна» или «провал», о которых теперь так много говорят, есть непреодолимая преграда человеческому пути на земле; но бездна не есть абсолютное *ничто*, *néant*, — чтобы была бездна, нужна опять-таки некоторая почва, только в одном направлении — вглубь, лишенная очертаний и содержащая пустоту, с остальных же сторон ясно очерченная чем-либо положительным. Но если мы разрушим всякую почву и постулируем только абсолютную пустоту, то мы вместе с тем уничтожим и всякую «бездну». В отношении бездны человек, приближающийся к ней, ступая по твердой почве, может испытать чувства ужаса, отчаянья; и эти чувства разрешатся или тем, что он бросится в нее, или же тем, что ему удастся так или иначе перескочить через нее. Но когда человек вечно и, в этом смысле, спокойно висит в воздухе, окруженный со всех сторон безграничной пустотой, он не испытывает ничего, кроме тоски, вызываемой отсутствием впечатлений, и в конце концов должен лишиться сознания, уснуть, застыть на месте. Когда нет ничего, нет и сознания, а потому нет никакой трагедии.

В сильном и глубоком уме Шестова сказалась одна роковая русская черта — влечение к крайности, к тем последним пределам и завершениям идеи, которые делают всякую идею пустой абстракцией и лишают ее подлинно-жизненной силы. Нигилизм, к которому он приходит, есть не нигилизм Штирнера¹ — революционное прославление самодержавия эгоизма, — не нигилизм Ницше, разрушавшего всех богов, чтобы сделать человека Богом, — это есть чистый нигилизм, простое, голое отрицание всяких ценностей и всякого смысла жизни. Во имя

чего? В предисловии к своей новой книге «Начала и концы» Шестов хочет уверить нас, что он ратует во имя истины. «И будем утверждать, что истина, в последнем счете, может быть нужнее самой лучшей лжи — хотя, конечно, мы не знаем и, верно, никогда последней истины не узнаем. Уже и то хорошо, что все, выдуманное людьми суррогаты истины — не истина». Все писания Шестова направлены против «идеалистов», самого ненавистного для него разряда людей, вера которых, по его мнению, сводится к трусливому прятанью жизни за обманы и призраки, к исповеданию: «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман»². Для Шестова всякая человеческая вера и всякая надежда есть сознательный или бессознательный обман — и, прежде всего, самообман. Этого утверждения он собственно не доказывает, — оно есть для него аксиома, постоянная тема, которую он только бесконечно варьирует в своих произведениях; он уверен, что стоит только прямо посмотреть в лицо жизни, чтобы знать непререкаемость этой истины. В жизни царит слепой случай, разрушение человеческих надежд и жизни есть обыденный и явный факт, который нужно только иметь смелость открыто констатировать.

Нельзя отрицать за этим взглядом необычайную мужественность и искренность, но нужно прямо сказать: универсальный пессимизм не есть простое констатирование факта, а есть своеобразная, субъективная оценка фактов и, тем самым, — особый вид догматической веры. Вполне последовательный скептицизм, чуждый всяких предвзятых мнений и непроверенных обобщений, не мог бы так настойчиво проповедовать определенную, уверенную характеристику жизни, как бессмысленного хаоса. В статье о Достоевском («Пророческий дар») Шестов горько высмеивает исторические и политические пророчества этого великого духа и неудачу их обобщает в универсальную теорию, что конкретной жизни в ее грубости и безмыслии нет дела до гениев и что «пророками» ее могут быть только узкие и ограниченные практики, а не гениальные мечтатели. «Для реальных политиков один солдат и не то, что пушка, а ружье старой системы больше значат, чем самая лучшая философско-нравственная концепция». Романы Достоевского «притягивают к себе всех тех, кому нужно выпытывать от жизни ее тайны. А чин пророка, за которым он так гнался, полагая, что имел на него право, был ему совсем не к лицу. Пророками бывают Бисмарки, они же и канцлерами бывают». Что есть это утверждение — простое засвидетельствование очевидного факта, или же необоснованная гипотеза, имеющая за себя, главным образом, плохое настроение ее автора? Если бы Шестов взял вместо Достоевского, например, Владимира Соловьева с его предсказанием крушения России на Дальнем Востоке, его теория не вышла бы столь стройной.

И неужели все успешные практики были тупоумны, и все гении — непрактичны? И неужели всегда и всюду «ружье старой системы»

в жизни побеждает «лучшую философско-нравственную систему»? Стоит только поставить эти вопросы, чтобы понять, что это, по меньшей мере, действительные вопросы, т. е. проблемы, требующие добросовестного и вдумчивого размышления и не решаемые ссылкой на какой-либо повсеместный и очевидный факт. Говорить, что в жизни имеет успех одна голая и слепая сила, а не идеи и идеалы, значит забывать, что идеи и идеалы тоже суть факты и, следовательно, тоже обладают силой. Поэтому проблема отношения между силой слепой и силой осмысленной, проблема удачи и неудачи разума, не может быть разрешена простым указанием на бессилие идеи перед «фактами». Вот, например, Гёте высказывает мнение, что, «как бы общественная и частная судьба ни молотила человека, но, попадая на богатые колосья, она дробит только солому, а не зерна»³. Кому же мы должны верить — Гёте или Шестову? В какую бы сторону мы ни склонились, мы знаем, что и в том, и в другом случае мы стоим на почве догадок, гипотез, относительного человеческого опыта и человеческого обобщения. Спор идет не между «идеалистами» и «реалистами», а между идеалистами и материалистами, между верой в силу духа и мысли и верой в силу одной лишь слепоты и безмыслия. А вряд ли теперь нужно еще доказывать, что материализм тоже есть «метафизика», т. е., как говорил Кант, «выходит за пределы опыта»⁴.

Таким образом, нигилизм и пессимизм Шестова не может опираться на непререкаемые права истины. И Шестов в конечном счете сам признает, что книга, написанная во имя истины, заканчивается предложением: «Общеобязательные истины уже давно всем оскомиனு набили. Я, по крайней мере, не могу равнодушно слышать о них. Даже просто “истина” ничего не говорит моему уху. Нужно найти способ вырваться из власти всякого рода истин». Было бы, конечно, смешно встретить это смелое и парадоксальное признание — которое, впрочем, столь старо, что еще Сократу пришлось всю жизнь посвятить на борьбу с *этой* «истиной» — какой-либо прописной моралью о пользе истины. Но можно и должно запечатлеть это признание и помнить, что в идеях Шестова мы имеем дело с *philosophie irrésponsable*, с безответным настроением. В отношении такого воззрения невозможны споры; но если оно само отстраняет от себя мерило истины, то остается еще вопрос о его *правде* — не о субъективной правдивости, которая, конечно, выше всяких сомнений, а о правде, как внутренней ценности, как интуитивном озарении бытия. И если это озарение бытия дает у Шестова один сплошной мрак — то мы не можем заразиться этой его правдой.

Одинокий и независимый мыслитель Шестов в этом смысле идет навстречу «текущему моменту». Под разными быстро опошлевшими названиями «мистического анархизма», «неприятя мира» нигилизм снова стал модным или, вернее, особенно ясно обнаружил свое коренное

сродство с духом господствующего русского умонастроения. Психологически он является спутником и коррелятом всякого рода слепой и фанатической веры, и между этими крайними точками, как маятник, колеблется наше нравственно-философское сознание. Но мы не можем терять надежды, что между «началами» и «концами» найдется еще нечто третье, та, одинаково презираемая и слепо верующими, и слепо неверующими середина, в которой все силы человеческого духа найдут себе оправдание. Там вера не будет признана «глупостью», но и разум не будет принесен ей в жертву. Эта последняя правда, конечно, не найдена и, может быть, никогда не будет найдена окончательно. Но — повторим мы вслед за Шестовым: «...и то хорошо, что все выдуманные людьми суррогаты истины — не истина».

